

ODYSSEUS

Man in History

Mutual representations
of rituals and religious practices
of adherents of different Faiths

2015–2016



MOSCOW
DMITRY POZHARSKY UNIVERSITY
2017

ОДИССЕЙ

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ

Ритуалы
и религиозные практики иноверцев
во взаимных представлениях

2015–2016



МОСКВА
УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО
2017

СОДЕРЖАНИЕ

РИТУАЛЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ ИНОВЕРЦЕВ ВО ВЗАИМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Лучицкая С. И.

«Три кольца».

Ритуалы и религиозные практики иноверцев:
взгляды с разных сторон11

Варьяш

И. И. Паломнические практики сарацин

в правовых памятниках

арагонской короны (XIV—XV вв.) 33

Астахов М. А.

Клятвы в дипломатических отношениях арагонской короны

и гранадского эмирата в XIV—XV вв 49

Толан Джон

«Ужасный шум»: звон колоколов

и крик муэдзина в межконфессиональной полемике

на пиренейском полуострове 65

Попова Г. А.

«Свято место пусто не бывает»?

Использование иноконфессионального

сакрального пространства

(пиренейский полуостров, VIII—XIII вв.) 85

Долгополов В. В.

«Твои доктора... согласны с подлинными

католическими докторами» (иудейские учителя

в *adversus judaeos* (XII — нач. XV в.):

статус и способы обозначения)..... 105

Пармонова М. Ю.

Греческие монахи в латинской Италии X в.:

Возможности и пределы адаптации 146

Чумичёва О. В.

Парадоксы «греческой веры»: между исламом,

христианством и языческими традициями 170

Чечик Л. А.

Образы «иудеев» и «мусульман»

в венецианской религиозной живописи

эпохи возрождения 187

РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Избранные песнопения из *symphonia armonie celestium*

revelationum Хильдегарды Бингенской

(пер. и коммент. П. Д. Сахарова) 215

Реутин М. Ю.

Краткий очерк жизни и творчества

Хильдегарды Бингенской 232

Найджел Ф. Палмер

Аллегория и молитва: дом сердца и ковчег добродетелей

в «молитвеннике Урсулы Бегерин» 242

ИСТОРИК И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Майзульс М. Р.

«Если ты бог — защищайся»:

католические модели протестантского иконоборчества 281

Карло Гинзбург

«Ножницы» Аби Варбурга 349

«ЧУЖАК»

В ОБЩЕСТВАХ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

Симона Черутти

Кто такой «чужак» в Европе нового времени? Размышления

о юридических категориях и социальных практиках 380

ИСТОРИК И ВРЕМЯ*Каганович Б. С.*

Переписка О. А. Добиаш-рождественской и Ф. Лота392

РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ*Парамонова М. Ю.*

Бесы и праведники «храма науки»: мемуары а. А. Зимина.

Судьбы творческого наследия отечественных историков
второй половины XX века / сост. А. Л. Хорошкевич.

М.: Аквариус, 2015431

Реутин М. Ю.

Там, где рождаются смыслы...

(Бондарко Н. А. Немецкая духовная проза XIII–XV веков:

язык, традиция, текст. Спб.: Наука, 2014)..... 467

IN MEMORIAM

Л. М. Баткин (1932–2016)..... 487

Отто Герхард Эксле (1939–2016)..... 495

Summaries.....516

Об авторах.....523

РЕЦЕНЗИИ И РЕФЕРАТЫ

М. Ю. Парамонова

БЕСЫ И ПРАВЕДНИКИ «ХРАМА НАУКИ»: МЕМУАРЫ А. А. ЗИМИНА

Как в минувшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет —
Страшный праздник мёртвой листвы.

(А. Ахматова)

В 2015 г. были опубликованы мемуары А. А. Зими́на, озаглавленные самим автором «Храм науки (Размышления о проживотом)»¹, обнаружения которых давно ждали в профессиональном сообществе российских историков². Издание было подготовлено и осуществлено А. Л. Хорошкевич при поддержке и помощи С. М. Каштанова и стало актом их личной верности и признательности умершему еще в 1980 г. учителю и другу³. Зимин был выдающимся исследователем, оставившим серию первоклассных работ по русской истории XV–XVI вв., русскому средневековому источниковедению и текстологии, а также университетским учителем (не в смысле формальных названий высших школ эпохи его деятельности), сумевшим воспитать и побудить к активной работе ряд квалифицированных и замечательных историков-русистов. Биография и научная деятельность Зими́на после его смерти неоднократно рассматривалась в отдельных эссе и монографических

¹ Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века / Сост. А. Л. Хорошкевич. М.: Аквариус, 2015. С. 35–384.

² Далее — «Храм», что в сносах подразумевает не только мемуары Зими́на, но и сборник в целом.

³ Там же. С. 3–4, 30, 34.

исследованиях⁴, а потому читателя можно отослать к весьма обширному списку публикаций, включая два небольших, но емких и точных по выбору тем текста Хорошкевич, опубликованных под одной обложкой с воспоминаниями ее учителя.

Мемуары Зимины были известны во фрагментах, появившихся в различных научных изданиях в течение последних двух с лишним десятилетий, отобранных публикаторами (историографами, друзьями и родственниками мемуариста) и отредактированных по их личному усмотрению. Их содержание, главным образом, ограничивалось зарисовками отдельных ученых или групповыми портретами историков разных поколений. В этих публикациях Зимины предстает мудрым и доброжелательным автором, с благодарностью и участием повествующим о научных достижениях и трудных судьбах коллег старшего поколения или о становлении и успехах своих коллег и учеников. Однако отсутствие контекста этих фрагментов, изъятых из состава целостного сочинения, равно как и внутренние сокращения, обозначаемые отточиями, сигнализировали о «цензурировании» покойного историка, осуществляемого издателями⁵. Насиль-

⁴ См., например: *Каушанов С. М.* Александр Александрович Зимины — исследователь и педагог // История СССР. 1980. № 6. С. 152–157; *Кобрин В. Б.* Александр Александрович Зимины. Ученый. Человек // Исторические записки. Т. 105. М., 1980. С. 294–309; *Лурье Я. С.* Из воспоминаний об Александре Александровиче Зимине // Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994. С. 194–209. Подробная библиография посмертно изданных трудов Зимины и посвященных его творчеству публикаций включена в состав рецензируемого издания. Там же. С. 424–437. Библиографию работ историка можно найти и в превосходной научной биографии Зимины: *Базанов М. А.* Александр Александрович Зимины: биография историка в контексте развития отечественной науки. Диссертация... кандидата исторических наук 07.00.09. Челябинск, 2014. URL: www.academia.edu.

⁵ *Зимины А. А.* Обретение свободы // Родина. 1990. № 8. С. 88–89; *Он же.* Мой добрый старый друг // In memoriam: сборник памяти Я. С. Лурье. СПб., 1997. С. 165–169; *Он же.* В книжном царстве // Александр Александрович Зимины: Биобиблиографический указатель / сост. Р. Гульчинский. М., 2000. С. 135–148; *Он же.* Мой архив // Там же. С. 149–155; *Он же.* Мой истинный друг // От Древней Руси к России нового времени: Сборник статей: К 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич. М., 2003. С. 17–24; *Он же.* Патриархи // Александр Александрович Зимины / сост. В. Г. Зимины, Л. Н. Простоволосова. М., 2005. С. 29–57; *Он же.* Несравненный Степан Борисович // Там же. С. 58–73; *Он же.* Дети становятся взрослыми // Там же. С. 74–126; *Он же.* «Великолепный неудачник» // Штаден Г. Записки о Московии. М., 2008. Т. 2. С. 11–12

ственное редактирование и цензура, с которыми Зимин систематически сталкивался при жизни⁶, настигли его и после смерти, невзирая на прямо выраженное пожелание обнародовать текст целиком⁷.

Публикацию «Храма» сопровождал обмен взаимными претензиями между наследниками и душеприказчиками Зимина, судебный иск в адрес Хорошкевич и полемика в социальных сетях⁸. Очевидное негативное отношение к обнародованию этого текста, если отбросить формальный спор о правах на творческое наследие, порождено, в первую очередь, тем, что мемуары содержат ряд резких, оскорбительных и несправедливых высказываний в адрес нескольких уважаемых в профессиональном сообществе людей⁹. Некоторые из коллег и знакомцев Зимина, получившие от него увесистые оплеухи, живы и по сию пору, а у умерших остались многочисленные ученики и почитатели¹⁰. Неприятно, разумеется, обнаружить резкие и нередко злые характеристики людей, которых читатель мемуаров знает как ав-

⁶ Цензуре и практике редактирования научных текстов, делавших автора бесправным объектом идеологического контроля и искажавших его текст в соответствии с текущими политическими установками, посвящено несколько горьких страниц в мемуарах Зимина. См., например: С. 90, 102–103, 373–374.

⁷ Зимин пишет об этом как в своих мемуарах (С. 368–369), так и в составленных им отдельно распоряжениях о судьбе своих неопубликованных рукописей. См., например, свидетельства Хорошкевич о содержании завещания Зимина и высказанных им в письменной и устной форме пожеланиях о публикации Храма. Там же. С. 29.

⁸ *Базанов Михаил*. О «пиратском» издании книги А. А. Зимина «Храм науки»: несколько соображений провинциального историка (Публикация на портале журнала Скепсис. URL: http://scepsis.net/library/id_3684.html).

⁹ Некоторое представление о стилистике мемуаров дает этот пассаж, в котором упомянуты уже ушедшие из жизни и не слишком почитаемые научным сообществом в настоящее время историки: «И фанфарон-иезуит Данилов, и мрачно-злой членовеконенавистник Чистозвонов, и жаба Удальцова сохранили с тех далеких лет учебы только обрывки роскошных одежд, под лохмотьями которых виднеются клочки их волчьих шкур». Храм. С. 253.

¹⁰ Задолго до публикации Храма в публичное пространство попали полемика о роли Д. С. Лихачёва в истории с фактическим запретом исследования Зимина о Слове о полку Игореве в 1964 г. и противостояние учеников В. Т. Пашуто и Зимина в деле сохранения памяти о своих учителях. Взаимная неприязнь, научные и человеческие конфликты покойных ученых не завершились с их смертью и продолжаются между их «группами поддержки».

торитетных ученых и, возможно, даже испытывает к ним личную симпатию¹¹.

Отредактировать текст мемуаров, убрав из него субъективные суждения и оскорбительные высказывания, невозможно, не исказив авторского замысла¹². Более того, это очевидно стало бы препятствием для понимания творчества и научной биографии одного из самых крупных российских историков второй трети XX в. Мнение Хорошкевич о том, что мемуары позволяют «хотя бы отчасти, услышать настоящий голос исследователя, представить условия, в которых пытались творить самые честные историки»¹³, справедливо, но нуждается в уточнении. Они приоткрывают путь к личности автора, помогают понять, как он выстраивал индивидуальное коммуникативное пространство в академической среде. Судя по мемуарам, основополагающими в создании «своего круга» научного общения Зимина были личная приязнь и интуитивно осознанное родство характеров. Принадлежность ученого к той или иной «школе» или научной традиции может быть установлена путем формального анализа его трудов, однако определение непосредственного круга его общения, совокупности влияний и внутреннего отторжения, живого опыта научного становления и эволюции возможно только на основании личных и предельно откровенных свидетельств¹⁴.

¹¹ О своем несогласии с характеристиками некоторых ученых, составленными Зиминим, пишет в своем предисловии к мемуарам *Хорошкевич А. Л.* Указ. соч. С. 28–29.

¹² В частности, подчеркнуто негативные, почти памфлетные, характеристики Рыбакова, Скрынникова, Шмидта, Мавродина, Пашуто, Лихачёва и их работ вызывают протест даже не в силу оценочного радикализма, а из-за отсутствия развернутого анализа конкретных исследований этих ученых.

¹³ Там же. С. 34.

¹⁴ Если мы признаём право любого человека на откровенную субъективную оценку окружающих и коллег не только в беседах на кухне или «в кулуарах», но и в публичном пространстве, то отрицать приемлемость этого принципа в отношении авторитетного и значимого для общества и культуры лица было бы просто глупо. Грань между оскорблением и выраженной в словах личной неприязнью, обоснованной теми или иными аргументами, каждый автор определяет сам, а решить спор между обиженными и обидчиком может только суд, которому, увы, покойник уже не подотчетен. В этой связи хотелось бы заметить, что суждения Зимина вовсе необязательно принимать на веру как постулаты священного текста или партийной резолюции, а сами по себе они вряд ли способны нанести сокрушительный (или просто чувствительный) удар по

Зимин целенаправленно писал свои мемуары и желал их обнародования, о чём прямо говорится во вводном и заключительном разделах текста¹⁵. В течение последних лет своей жизни, уже будучи серьезно больным человеком, он постоянно работал над ними, перedelывал, дополнял и редактировал текст. Он сам недвусмысленно и неоднократно в письменной и устной форме высказывал пожелание, чтобы после его смерти мемуары были напечатаны¹⁶. Очевидно, что этот текст не был чисто личным дневником или записками для «внутреннего использования», изначально предназначался для публикации, хотя и с довольно значительной временной отсрочкой (по разным версиям, 10 или 20 лет после смерти автора). Мотивы создания этого труда, их важность в контексте экзистенциального и профессионального опыта ученого определяются им самим с почти обезоруживающей простотой и откровенностью. Ученый хотел зафиксировать и представить «городу и миру» свое личное понимание и оценку развития исторического знания и научного сообщества, главным образом связанных с изучением русского Средневеко-

чей-то репутации или радикально изменить отношение профессионального сообщества к тому или иному исследователю. Вместе с тем, они заставят задуматься о причинах их появления у автора, явно не склонного к скоропалительным и неосторожным высказываниям, тщательно работавшего над своим текстом. Что лежало в основании: эмоциональный перехлест, социальный и культурный контекст, воздействовавший на автора в его личных пристрастиях, коммуникативно-информационная среда научного сообщества, которую полвека спустя мы не сможем восстановить в полной мере?

¹⁵ Говоря о своих сочинениях мемуарного типа, Зимин считает, что «Храм науки» может быть издан только в «самоиздании» («не рассчитано на публикацию другим путем»), уточняя: «Я не хотел бы, чтобы издавали в течение ближайших, скажем, двадцати лет». Одновременно он уточняет, что одно из его сочинений подобного типа — «Непродуманные мысли» — «вряд ли целесообразно в таком виде вовсе издавать». С. 368. Во введении Зимин неоднократно прямо обращается к будущим читателям его воспоминаний: «Заранее предупреждаю читателя, что мой рассказ субъективен. Пристрастен, и даже очень», «Пусть не ищет здесь читатель “объективного” рассказа в духе летописца Пимена». С. 38, 39.

¹⁶ Распоряжения о судьбе своего архива, включая неопубликованные рукописи, содержатся в опубликованном тексте: «К архиву должны иметь отношение Валя, Каштанов, Хорошкевич, Е. Б. Бешенковский, а в случае необходимости Я. С. Лурье» (распоряжение, написанное в августе 1976). С. 369. О наличии иных письменных и устных распоряжений см.: Там же. С. 29; *Базанов Михаил*. О «пиратском» издании.

вья, в 30–70-е гг. XX вв. Он не хотел, чтобы его опыт участника, свидетеля и творца научной жизни остался сугубо внутренним и индивидуальным знанием, полагая, что это будет полезно позднейшим исследователям отечественной историографии и социально-культурного развития страны в XX в.¹⁷ Искренний, почти исповедальный тон автора, его стремление быть честным до конца¹⁸, отключив внутреннего цензора, скрупулезность работы над текстом и со сбором фактов заставляют особым образом взглянуть и на даваемые им персональные характеристики. Видимо, следует минимизировать при их оценке фактор случайной или злокозненной эмоциональности, рассматривая их как зеркало, в котором отражаются не только и не столько современники Зимины, сколько он сам со своими представлениями о профессиональной этике и личной морали. Не случайно, определяя цели своего труда, он не разделяет рассказа о «внешнем» (люди и события) и «внутреннем» (самовыражение, сохранение памяти о себе самом как особом индивиде)¹⁹. Его слова: «Назначение человека — как можно всестороннее раскрыть заложенные в нем потенции. Поэтому я пытался дать субъективное, т. е. личностное представление о Храме науки и его служителях. Чем больше будет таких рассказов, окрашенных индивидуаль-

¹⁷ Зимин так определяет свою задачу: «... я пытаюсь рассказать о своей встрече с наукой, ее жрецами», а речь в его воспоминаниях идет «преимущественно о людях, занимавшихся феодальным периодом отечественной истории»; «Мне хотелось бы, чтобы заглянув в мою книгу воспоминаний и размышлений, эти наши наследники поняли бы и условия, в которых нам приходилось сочинительствовать, и представили себе тех, кто был служителями в Храме науки». Там же. С. 37, 38, С. 39. Примеч. 4 (текст Зимины, сохраненный в составе рукописи на отдельном листе).

¹⁸ Работая над текстом, Зимин, по собственному признанию, стремился избавиться от многолетней привычки к самоцензуре: «Даже теперь, наедине со своим архивом, я не могу быть целиком самим собою. ... бес шепчет на ухо: “это ты по трусости”. И как его убедить, что не всегда все-таки я кривлю душой в угоду куску хлеба и глотку кислорода?». Там же. С. 57.

¹⁹ Автор хочет, «чтобы его рассматривали всего только как свидетельство одного из современников описываемых событий и людей — и только». Он убежден, что без подобных свидетельств лет через 50 будет «очень трудно разобраться в борьбе страстей, в обстоятельствах, вызвавших появление тех или иных трудов». С. 37, 37–38. С этими утверждениями прямо пересекаются размышления о личных архивах как единственном источнике познания внутреннего мира человека его потомками. С. 367.

ным восприятием мира, тем многограннее и в конечном счете достовернее будет наше представление о нем», — могли бы быть эпиграфом к его мемуарам — подчеркнуто личностной и субъективной истории историка²⁰.

* * *

Собственно мемуары Зимина включены в состав сборника, объединившего помимо «Храма» ряд ранее не публиковавшихся статей или материалов, тем или иным образом связанных с его фигурой: прочитанных в качестве докладов на посвященных ему мемориальных собраниях или подготовленных при его участии. Сюда включена и подробная библиография трудов Зимина и публикаций, посвященных его творчеству. Обстоятельства, побудившие Хорошкевич предпринять публикацию воспоминаний Зимина, со всей определенностью проясняют ее собственные тексты. Они включают подготовленное еще в 1969 г. исследование «Вопросы издания творческого наследия советских историков русского феодализма» (С. 5–27), вводную статью «Работа души и работа над стилем. История текста публикуемой редакции рукописи А. А. Зимина “Храм науки”» (С. 28–34) и краткий очерк жизни и творчества историка «Подранок Октября» (С. 412–422), с небольшими дополнениями воспроизводящий доклад, прочитанный в 2010 г. в РГГУ на заседании памяти историка²¹.

В каждом из этих текстов декларируется и обосновывается принципиальное убеждение Хорошкевич в чрезвычайной важности для науки и ее последующего развития «творческого наследия» ученых, прежде всего, завершенных и не опубликованных исследований, равно как и свидетельств чисто личного и биографического характера. Как в своей давней статье, обобщившей обширный комплекс свидетельств о личных архивах покойных историков и о масштабах их использования и введения в научный оборот, так и в заметках конкретно о «наследии» Зимина, она настаивает на необходимости сохранения личных архивов историков, обеспечения доступа к ним, издания подго-

²⁰ Там же. С. 39. См. также: «Заранее предупреждаю читателя, что мой рассказ субъективен. Пристрастен, и даже очень»; «Пусть не ищет здесь читатель “объективного” рассказа в духе летописца Пимена». С. 37, 39.

²¹ Ранее этот текст был опубликован на интернет-сайте А. Л. Хорошкевич.

товленных, но по разным причинам не обнаруженных исследований. Подобная работа имеет не только практическое значение для развития науки — расширение поля исторических и историографических фактов, трансляция накопленного знания, сохранение преемственности и коммуникативной связи между разными поколениями ученых, но и очевидную моральную мотивацию — сохранение живой памяти о предшественниках²².

Нетрудно заметить, что позиция Хорошкевич в целом, равно как и ее конкретные суждения и аргументы прямо пересекаются с размышлениями Зимина²³. В «Храме» он пространно и эмоционально повествует о важности максимально широкого сохранения учеными своих архивов, включая всю возможную документацию их работы и взаимодействия в профессиональной среде²⁴. Профессиональная польза подобного сохранения личных «бумажек» (собранные материалы и сформулированные идеи могут быть полезны коллегам, а созданные, но необнародованные труды использованы в написании историографических работ как элементы общего процесса развития науки в конкретный период) неразрывно связана с гуманитарным аспектом — сохранением памяти о себе и об особенностях своей личности в максимально полном и неискаженном виде, помимо и до все-

²² Статья Хорошкевич помещена в начале сборника не только как факт «частного архива», но, думается, и как прелюдия, задающая лейтмотив всего издания — необходимость включения в систему историографического дискурса, своего рода коллективной памяти профессионального сообщества, личных свидетельств умерших историков и их необнародованных трудов. В статье перечислены многие исследования и работы, которые не были опубликованы (или широко известны при жизни ученых), но которые (тексты, материалы), честно добытые и выстраданные, могут быть полезны и должны быть известны потомкам/наследникам. Исследовательница, очевидно, противостоит бюрократической логике отечественных архивов, иронически отмечая, что Архив РАН стал собирать «наследие» не только членов и членов-корреспондентов Академии, но и архивы «значительных историков» (С. 7), куда в 2014 был передан и архив Зимина.

²³ В Храме Зимин отмечает статью Хорошкевич, завершенную в 1969 г. и не принятую к публикации, подчеркивая важность сделанных автором наблюдений и выводов. С. 101

²⁴ Эти размышления сосредоточены в разделе «Мой архив». С. 364–369. К вопросу о том, что работа в архивах открывает путь к истинному пониманию отдельных людей и исторических эпох, Зимин возвращается неоднократно. С. 363–364, 375.

возможных мемориальных толкований²⁵. Осознанное и целеустремленное желание самому рассказать о себе и своем сугубо субъективном видении событий и людей можно рассматривать как исключительно персональную особенность, гипертрофированный индивидуализм и тщеславное самоутверждение. Скорее, однако, в нём проявляется общее понимание Зиминым главной задачи историка — «воскрешать покойников», разыскивать и сохранять память о людях предшествующих поколений, воссоздавать черты их внешней жизни, личных мыслей и переживаний²⁶. В этом смысле ученый должен осознавать ответственность перед потомками и коллегами, собирая сведения о себе и о своем окружении²⁷. Причем речь не идет только о нейтральной фиксации фактов, но и о сколь угодно субъективной (авторской) реконструкции внутреннего мира и индивидуальных свойств лично знакомых ему людей. Отказ от позиции мудрого и беспристрастного наблюдателя — гарантия того, что память об авторе будет хоть в какой-то степени избавлена от искажений со стороны лиц, посмертно эксплуатирующих его авторитет. Та-

²⁵ «У нас так мало архивов, которые бы давали материалы для восстановления духовного облика любого человека — кто бы он ни был»; «Итак, архив необходим для того, чтобы дать представление о том, что жил да был некий субъект в 20–70-х гг. XX в. Сохранить этот архив — дело твоего долга перед теми, кто придет вслед за тобой ... это память не только (и не столько) о тебе самом, сколько о людях, тебя окружавших, о науке, о жизни. Нельзя, чтоб это исчезло без следа. Недопустимо». С. 366, 367.

²⁶ «Ведь творцы этой науки /отечественной истории/ — волшебники, воскрешающие тех, кто дал тебе жизнь, кто является твоей составляющей. Как исчислить поэтому меру ответственности и перед теми, кто ушел — ведь они могут только беспомощно и безмолвно взирать на то магическое действие, которое творишь ты. ...об ушедших людях мы можем узнать только по рассказам тех, кто знал их, по их собственным творениям». С. 38; говоря о выборе профессии историка, которой он предпочел занятия медициной, автор пишет: «В самом деле, ведь воскрешать мертвых ничуть не хуже, а может быть, даже лучше, чем лечить живых». С. 59.

²⁷ Это не единственное мемуарное сочинение Зимина. См., например, вступительную статью А. А. Формозова к публикации фрагментов книги Зимина о Слове о Полку Игоре, где упоминается рукопись «Слово и дело. Страницы дневника 1963–1977 гг.», завершенная в 1978 г. (480 страниц машинописи). Сам Зимин из сочинений мемуарного характера указывает «Сумерки и надежды», «Слово и дело», «Храм науки» и «Непродуманные мысли». *Формозов А. А.* Предисловие к публикации: Зимин А. А. Слово о полку Игоре. Фрагменты книги // Вопросы истории. 1992. № 6–7.

кую позицию можно считать посмертным сведением счетов²⁸, а можно и столь популярным ныне «саморазоблачением» (каминг-аутом).

Гипертрофированное в «Храме» стремление открыто и прямо давать оценки людям и явлениям, морализаторский пафос суждений прочно коренятся в уверенности Зимина о неразрывной связи профессионального и морального в историке: личные убеждения и принципы явно или неявно определяют масштаб и качество научных результатов ученого²⁹. Возможно, в своих мемуарах он стремился избавиться от самоцензуры, чтобы отразить собственный психологический портрет, с предельной открытостью зафиксировать круг своих приоритетов и этических табу. Представляется, что в процессе написания «Храма» ученый сам формировал материал, который, будучи получен из первых рук, поможет позднейшим исследователям (потомкам) при восстановлении связи его творчества с внутренним духовным миром. Эта задача, в последние десятилетия весьма активно обсуждаемая с точки зрения ее перспектив и ограничений при написании научных биографий или интеллектуальной истории отдельных эпох, видимо, имела личную актуальность для Зимина, что отражено в риторике и содержании портретов коллег, созданных им в своих мемуарах³⁰.

В основу публикации положена вторая редакция «Храма», завершенная Зиминим к 1976 г. и три года спустя переданная им Хо-

²⁸ В пользу такого предположения говорит тот факт, что распоряжение издать Храм не ранее, чем «в течение ближайших, скажем, двадцати лет. Дело в том, что там героями выступают здравствующие сейчас люди», а появление в печати «размышлений мемуарного типа при их жизни, конечно, неморально», выглядит несколько лицемерно. Многие из нелестно упомянутых Зиминим лиц, за исключением признанных «авторитетов» советского академического производства, включая членов семьи, живы и по сию пору и не могут ответить ничем, кроме запретов на публикацию или беседами в коридорах. Что само по себе представляется довольно комичной борьбой с отсутствующим противником.

²⁹ «Для науки о человеке аморальность исключена, ибо только ученый, любящий своего собрата, друга, кем бы он ни был, способен понять собрата, жившего сто или тысячу лет назад. Лживый же честолюбец в реальной жизни не может быть правдивидцем в науке». Там же. С. 36–37

³⁰ Проблема морали и творчества, души и профессиональных достижений хорошо прослеживается в ряде других произведений Зимина, например в его очерках о литературе и искусстве.

рошкевич и хранящаяся в ее личном архиве³¹. Недоступность окончательного варианта мемуаров (т. н. третьей редакции), связанная с какими-то туманными, как в хорошем детективе, обозначенными лишь намеками, обстоятельствами, не позволяет говорить с полной уверенностью, что именно этот вариант воспоминаний предназначался автором для обнародования. Спор с родственниками о необходимости издания «Храма» ведется главным образом вокруг вопроса о том, кому принадлежит это право: дочери или душеприказчиком, как именно сам Зимин определял круг лиц, допущенных к работе с его наследием³². Кроме того, предварительные замечания Хорошкевич об особенностях полученной ею рукописи и приемах работы с ней при подготовке публикации не проясняют со всей определенностью некоторых аспектов: о соотношении трех редакций, о причинах включения ею в текст второй редакции каких-то фрагментов третьей и об источниках таких заимствований, о времени написания некоторых вставных фрагментов. Поспешность издания рукописи, хорошо заметную по множеству опечаток, вместе с тем можно оправдать моральным аргументом: выполнением воли умершего учителя, столь очевидной при прочтении даже этого, неоконченного варианта мемуаров³³.

* * *

«Храм» Зиминанепохожнатрадиционные мемуары, как правило, следующие логике хронологически организованного изложения жизни и профессионального развития автора, последовательно описывающего этапы интеллектуального формирования и эпизоды карьерных прорывов и неудач. В книге неожиданно относительно немного развернутого повествования о научной работе и «исследовательской кухне» автора, об учебе и учителях,

³¹ Там же. С. 29, 35.

³² См., например, письмо Н. А. Козловой (дочери историка), направленное в дирекцию Архива РАН, подвергающее сомнению право (в том числе и во вполне формальном смысле) Хорошкевич на публикацию мемуаров. URL: <http://www.arran.ru/?q=ru/node/602>.

³³ См. рецензию на это издание: *Майорова А. С., Мезин С. А.* Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века // Отечественные архивы. № 1. 2016. URL: <http://www.rusarchives.ru/publikacii/otechestvennye-arhivy/1598/sudby-tvorcheskogo-naslediya-otechestvennyh-istorikov-vtoroy-poloviny-xx-veka>.

выборе проблематики, изменении фокуса исследовательского интереса, принципах работы, предметной полемике с коллегами-конкурентами. Сведения об этом — фрагментарны и включены в повествования, посвященные отдельным институциям или людям, с которыми автор сотрудничал или соприкасался. С работами отдельных коллег, с самим стилем или манерой их работы он спорит или соглашается, но это не выходит за пределы кратких замечаний, апологетического или памфлетного типа. Связный автобиографический очерк содержится, пожалуй, лишь в двух небольших главах — «Как я стал историком» (С. 56–59) и «У разбитого корыта» (С. 369–383), обе они отмечены личностной, почти исповедальной интонацией. Подробный и развернутый рассказ, сосредоточенный на раскрытии собственного профессионального опыта, можно найти только в разделе «Ребята становятся взрослыми» (С. 268–292), где Зимин не только создает портретную галерею своих учеников из Историко-архивного института, но и излагает философию и практику своей педагогической деятельности, и в главах «У разбитого корыта» и «Мой архив» (С. 364–369). Парадоксально, но сам автор не является главным героем своих мемуаров, он, скорее, соучаствует в описываемых событиях и взаимодействует с многочисленными персонажами, отводя себе роль заинтересованного и пристрастного наблюдателя, личность которого проявляется в риторике и оценках, а не в целенаправленной саморефлексии.

С точки зрения формальной структуры «Храм» представляет собой серию очерков, взаимосвязь которых не подчинена ни принципам хронологической последовательности, ни сколько-нибудь ясной логико-тематической схеме: они объединены лишь потребностью ученого поведать о тех лицах, учреждениях или аспектах научной жизни, которые кажутся ему важными. Например, рассказ о внутренней жизни Института Истории³⁴, разбитый на несколько глав («Первосвященник в храме», «Служители феодального культа», «Дела и дни феодалов», «Сыны надежды», «Созвездие вундеркиндов»), перемежается биографическими фрагментами о выборе профессии³⁵, портретами отдельных историков (С. Б. Веселовский, М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин, Я. С. Лурье, Б. А. Ры-

³⁴ Института истории АН СССР, а после разделения в 1968 г. — Института истории СССР и Института всеобщей истории.

³⁵ Там же. С. 56–59.

баков, В. Т. Пашуто, В. Л. Янин, коллективный шарж на коллег младшего поколения), эскизами об ученых русистах-медиевистах Ленинграда и высших школах, преимущественно Москвы. Окончив структурно разорванный рассказ об Институте, в котором он проработал почти всю свою жизнь после окончания университета, автор переходит к очеркам об Историко-архивном институте, Археографической комиссии, научных периодических изданиях и архивах, выборах в Академию, пространному повествованию об иностранных коллегах. Этот набор эссе, фиксирующих личные наблюдения, завершается автобиографическим очерком³⁶, который и позволяет, наконец, соотнести разрозненные очерки с общей канвой жизни ученого.

Чтение этих мемуаров будет, как думается, сложным занятием для широкой аудитории, в том числе и для историков, не связанных прямо с изучением отечественной истории и не погруженных в практику и мифологию научной коммуникации русистов. Безусловно, специалисты по истории отечественной науки, историографии или в области отдельных проблем русского Средневековья найдут в мемуарах Зимина множество фактов и оценок советских ученых, кратких характеристик их трудов, созданных в 30–70-е гг. XX в., которые будут полезны в историографических обзорах³⁷ и реконструкции группового портрета советского академического сообщества. Книга буквально переполнена сведениями библиографического и биографического характера, критическими суждениями о трудах и публикациях отдельных ученых, соображениями о механизмах функционирования отдельных научных организаций и о практиках личностной и институциональной коммуникации. Однако приведенные Зиминим факты и оценки³⁸ сплетаются в калейдоскоп лапидарных и отрывочных фрагментов, которые автор не вписывает в последовательно артикулированный контекст или контексты. Личные наблюдения и суждения не вписаны ни в последовательную схему, ни в целостный нарратив — будь то изменение историографических парадигм, формирование исследовательских приоритетов и школ, динамика политического воздействия на развитие исторического

³⁶ «У разбитого корыта». Там же. С. 369–383.

³⁷ В том числе, и в оценке трудов самого Зимина.

³⁸ Вопрос об их достоверности, объективности или обоснованности, видимо, может быть предметом многочисленных дискуссий для специалистов по истории советской науки или непосредственных очевидцев.

знания и принципов организации научной деятельности или, наконец, личная биография.

Мемуары Зимина, не будучи по своему жанру ни научной (авто)биографией, ни исследованием о судьбах науки в определенных и меняющихся (с 30-х — до кон. 70-х гг. XX в.) социально-политических реалиях СССР, ни систематическим историографическим анализом, тем не менее могут быть отнесены к по-своему целостному научному нарративу. Мне кажется, их можно определить как историко-антропологическое «плотное описание»³⁹ среды обитания российского ученого в конкретных обстоятельствах и в конкретный период времени. Это описание имеет свою специфику — оно всё составлено из портретов людей, рассказывая о которых, Зимин выстраивает и свое понимание общих трендов пережитой им эпохи⁴⁰: преемственность и разрывы между дореволюционной и советской наукой, историографические дискуссии, воздействие власти на исторические исследования, смена типических моделей ученых, претендующих на лидерство в академической среде. Кажется, что этот текст автор писал как мартиролог (не случайно, он не считал этичным печатать текст ранее, чем через 20 лет, пока живы упоминаемые им лица⁴¹), в который занесены те, кого он вспомнил, и каждый получил свою оценку⁴².

Сам Зимин, безусловно, видит целостность своих мемуаров и определяет ее через объект изучения, которому дает наименование «Храм науки». Этот термин у автора полисемантичен, а его употребление перемещается от иронии к «высокому стилю». Используя его, Зимин подразумевает разные явления: сообщество ученых (преимущественно специалистов в области русского Средневековья, которых он лучше всего знал, но которыми явно

³⁹ Термин классической этнологии, с легкой руки К. Гирца ставший общеупотребимым в современной социальной истории.

⁴⁰ Здесь он словно следует бесспорной для него «великой истине» (открытой, по мнению Зимина, С. Б. Веселовским) о том, что «история — это живые люди, а не процессы». Там же. С. 149.

⁴¹ К счастью многие из описанных им людей до сих пор не только живы (по подсчетам его дочери — около 20), но и активны в научном плане.

⁴² Учитывая, что мемуары Зимин писал, будучи вполне зрелым человеком и, вероятно, предчувствуя непродолжительность отпущенного ему времени, характер создаваемых им портретов прямо противоречит его собственному утверждению: «Снисходительность рождается в человеке к старости, а юности она чужда». Там же. С.109.

не ограничивает свой коммуникативный круг); совокупность научных институтов (хотя уже в первом разделе понятие «Храма» сводится к Институту истории); собственно занятие наукой, главной целью которой он видит поиск истины⁴³. Главное для него, впрочем, это люди, общность тех, кто посвятил себя исследованиям, обучению и воспитанию будущих поколений⁴⁴.

Кажется, что термин «Храм науки» определяет не только собственно социальный феномен⁴⁵, но и имеет очевидные метафизические коннотации — отсылает к почти мистической общности подвижников, посвятивших себя служению истине, объединяющей как мертвых, так и живых⁴⁶. Интеллектуальная оптика Зими на напоминает столь хорошо знакомый ему строй мысли средневековых книжников, которые видели в земной реальности лишь проекцию божественного прототипа, всегда несовершенного в соотношении с идеальным планом, но теряющего без него всякий смысл и собственную сущность. Рассказывая об институтах, а

⁴³ «...я пытаюсь рассказать о своей встрече с наукой, ее жрецами», «...Преимущественно о людях, занимавшихся феодальным периодом отечественной истории»; «Мне хотелось бы, чтобы заглянув в мою книгу воспоминаний и размышлений, эти наши наследники поняли бы и условия, в которых нам приходилось сочинительствовать, и представили себе тех, кто был служителями в Храме науки»; «рассказ содержит попытку осмыслить прошедшие годы, главным образом познакомить читателя с теми людьми, с которыми мне пришлось встретиться в этом храме»; «В храме науки верующие в торжество Чистого Разума сами заняты открытием вечных истин, они сами священнослужители, а не просто присутствующие при действе». С. 37, 38, 39 (примеч. 4), 39, 36.

⁴⁴ «И все же что-то в содружестве ученых есть от Храма в духовном смысле. Чистота помыслов, служение Вечным идеалам, соприкосновение с тайной бытия», в реальной жизни всё не так однозначно, «но как предел мечтаний все это существует, несмотря ни на что»; «Хотя для меня так называемое творчество — несоизмеримо с радостью человеческого общения с друзьями старшего, моего и младшего поколений. Факел горящих человеческих сердец, освещающий путь к счастью. И если в нем есть и моя искорка, то, значит, жизнь прожита достойно. Но во всяком случае именно люди, а не книги всегда составляли главное в моей жизни». Там же. С. 36, 369.

⁴⁵ «Храм науки отечественной истории». Там же. С. 38.

⁴⁶ «Образ Храма двоятся не только в нашем воображении, но и наяву. Давно уже фарисеи стараются превратить служителей культа в кимвал звенящий. Шабаш ведьм, нацепивших на себя крылья ангелов. Храм воздвигается на Лысой горе. Калечатся тела и души. “Люди гибнут за металл”. И вдруг ты видишь, как откуда-то с мольбою в бесконечно печальных взорах к тебе обращены лики поруганных братьев и сестер». Там же. С. 38.

главное — о людях, автор всё время сравнивает реальность с этой воображаемой онтологической моделью, отмечая следы близости отдельных представителей земного сообщества к исходной концепции или признаки предательства ими своего служения Истине⁴⁷. Для него это равноценно предательству собственного предназначения, убийству своей души (темы, рефреном звучащие в его негативных характеристиках) и даже прямому богоборчеству (так, например, характерны его наименования негативных персонажей «бесами», «ведьмой», а наиболее колоритного и активного из них «Сатаной») ⁴⁸. Характерно, что таких очевидно религиозных оценок он не дает извне действующим на науку представителям и институтам власти, партийной или государственной. Отчетливо понимая их враждебность и вредоносность, автор тем не менее основную моральную ответственность переносит на тех, кто непосредственно входит в сообщество «служителей Храма».

Весьма примечателен и подход Зимина к оценке взаимодействия между научным сообществом и государством: кажется, в нём также слышны отзвуки средневекового восприятия взаимоотношений церкви и светской власти. Автор рисует ясную и недвусмысленную картину действий советской власти в отношении исторического знания: разрушение старых институтов и создание новых в соответствии с представлениями властей об организации науки, внедрение новых теоретических концепций, стремление подчинить деятельность и творчество ученых собственным идеологическим схемам, использование истории как служанки государственной политики, прямое вторжение в решение кадровых и научно-организационных проблем. На примере историков 1930–1970-х гг. Зимин показывает, что ученые были вынуждены приспособляться к меняющимся условиям жизни и работы, внимательно следить за очередными, зачастую взаимно противоречивыми и, возможно,

⁴⁷ См., например, едкие и горькие высказывания о Л. В. Черепнине — «судьба этого человека заставляет поверить даже не в мистическое предназначение, а скорее в ответственность человека за содеянное», предал то, « что ученый не имеет право отдавать на съедение Молоху. А отсюда и путь в бездну...» (С. 168); «Убив в себе царевича Дмитрия (божественную искру стремления к правде и человечности), Лев потерпел полный творческий крах», «Возмездием Льву были и потеря творческого гения (Синяя птица улетела), и полное одиночество», «Ну, прямо как Понтий Пилат сидит он в своем академическом кресле в лунном луче догорающей жизни» (С. 185).

⁴⁸ Там же.

нарочито неопределенными партийными решениями о теоретических и содержательных аспектах исследований⁴⁹. В конечном счете, вся его книга — это отчет очевидца о том, как ломались судьбы и искажались научные работы⁵⁰. И это представлено на примере биографий почти всех многочисленных героев «Храма».

Размах нарисованной Зиминым горестной картины взаимоотношений ученых и власти⁵¹ впечатляет и оставляет читателя в удрученном состоянии, однако эта картина имеет одну, как кажется, весьма характерную особенность — автор уходит от обобщений. В его мемуарах мы не найдем ни сколько-нибудь ясно артикулированной характеристики влияния власти на развитие исторической науки как длительного и менявшегося во времени процесса, ни полноценного анализа его отдельных этапов или эпизодов. Он говорит о великой буре Революции, о деле историков (или деле Платонова), о деле Покровского, о государственном заказе на патриотизм в предвоенные годы и в последующем, о борьбе с космополитизмом и буржуазным объективизмом, о голубых временах и надеждах оттепели, об официальном антисемитизме и национализме послевоенных десятилетий, об идеологических проработках 1970-х.⁵² Однако автор не уточняет основополагаю-

⁴⁹ См. основанную на публикации архивных документов работу об особенностях советской историографии в 1930–50-е гг.: Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.

⁵⁰ «Славным Шестидесятилетием» называет Зимин советский период историографии, предполагая, что потомки будут многому удивляться в нем: «Пройдут годы, и историки Счастливого века будут читать труды своих предшественников, живших в Славное Шестидесятилетие. Читать и удивляться многому. Высокому уровню техники исследований и низкому уровню моральных ценностей у их авторов». С. 39, примеч. 4.

⁵¹ Из метафорических наименований Зиминым власти и связанных с нею страхов и соблазнов: колесо Молоха, колесница Джаггернаута.

⁵² См., например: «Грозные события 1917 г.» (С. 60); «Время было тревожное» (1919) (С. 157); «И вот разгром 1930 года. “Дело историков”. Старики отправились вместе с С. Ф. Платоновым в далекие края...», «Очередная чистка Авгиевых конюшен на этот раз коснулась “школы Покровского” в 1934–1936 гг.» / первая — против правых, вторая — против троцкистов / «и привела к возвращению стариков из далеких странствий, музеев и казенных учреждений» (С. 61); «“Разгром школы Покровского” и в связи с этим классового врага на историческом фронте происходил именно во второй половине 30-х годов» (С. 45); новые перспективы «открыли постановления партии и правительства 1934–1936 гг. и выдвинутая задача овладеть конкретными фактами» (С. 158); «и серия постановлений по истории (1936–1937 гг.) создавала перспективы

щих параметров этих явлений (что, казалось бы, естественно для профессионального историка), таких как периодизация, цели, инициаторы, документы, мишени, масштабы. Сменяющие друг друга политико-идеологические кампании предстают, преимущественно, как факт биографии конкретного ученого, а их размах можно определить лишь через сумму отдельных казусов, включенных в мемуары Зимина. Возможно, этот отказ от генерализации можно объяснить конкретными обстоятельствами времени написания мемуаров (середина 1970-х гг.), которые не способствовали тому, чтобы называть политические явления своими именами. Однако нельзя не увидеть здесь и своеобразия исследовательской позиции историка как таковой. Антропологизм авторского взгляда на историю (хотя, вероятно, более уместен старомодный термин гуманизм) проявляется в том, что факты и процессы он не воспринимает как абстрактные и внеличные явления: для него это элементы жизни отдельных ученых, в том или ином виде преломившиеся в их творчестве.

Представляется, что в фокусе внимания Зимина находится не проблема влияния государственной политики на развитие исторической науки в целом, но ее воздействие на конкретных людей, включая выбор ими нравственной позиции и профессиональной стратегии. Вторжение власти в развитие науки представляется злом, но, если можно так сказать, злом неизбежным и внешним. Настоящая опасность коренится в самом сообществе ученых, в готовности его членов предавать ради внешних целей, из страха или честолюбия идеалы профессии и своих товарищей⁵³. Зимин

для занятий историей» (С. 59); «Начался период борьбы с космополитизмом. А. Л. Сидоров выступает в авангарде наступления на тех, кто покушался на чистоту марксизма-ленинизма» (С. 45); «очистительный вихрь Двадцатого съезда» (С. 244), «менялись общие представления о Правде, улучшался общий климат, в котором произрастали плоды научных посевов», «шок у всех служителей культа, в том числе феодальных», «практические пересмотры старых представлений стали фактом только через несколько лет», «началась эра “свободных дискуссий”» (С. 245).

⁵³ О весьма тонком понимании Зиминим того, что «внешнее давление» и «идеологические установки» не имели тотального значения, но входили в химическую реакцию с личной позицией, конформизмом исследователей, свидетельствует, например, его характеристика Б. Д. Грекова: «Говорят некоторые умники, что у нас наука развивалась по директивам. Нет, дело было не так просто ...схема Киевской Руси у Грекова явно не соответствовала общей теории марксизма о смене формаций... Он получил высочайшее (молчаливое)

не является ригористом и сторонником радикального нонконформизма: он принимает как неизбежное условие сосуществования историков и власти использование соответствующей риторики и идеологических схем (цитаты из классиков, схемы исторического процесса и исследовательские приоритеты, спускаемые из органов, надзирающих за идеологией). В его мемуарах можно обнаружить и вполне сочувственные характеристики некоторых политико-идеологических трендов: возврат «стариков» для возрождения исторических исследований и образования в середине 1930-х гг., актуализация патриотической проблематики в годы войны, акцентирование важности классовой борьбы. Вместе с тем, он остается скептиком относительно любой избыточной теоретико-методологической рефлексии, включая усилия по пересмотру тех или иных догматических схем и создание новых теоретических конструкций, способных описывать сущность исторического развития России. Эти дебаты, схемы и модели кажутся ему схоластическим спором, имеющим мало отношения к реальному историческому исследованию. Скептическая снисходительность к «теоретикам» сочетается у автора с резкой нетерпимостью к тем коллегам, которые сознательно и цинично отрекаются от основного призвания ученого — поиска истины, создавая и внедряя в сознание научного сообщества концепции, открыто обслуживающие государственные интересы. «Умствование», «романтизм» и «фальсификация» предстают как разные типы исторической спекуляции, хотя автор и не дает их точного определения.

Моральная и профессиональная деградация ученого, ради славы, чинов и денег готового на написание «актуальных» трудов и на утверждение истин, в которые он сам не верит или не может доказать, — именно это автор (помимо чисто личных симпатий-антипатий) определяет отправной точкой своей оценки коллег. Подобный дефект профессиональной этики далеко выходит за границы формальной модели творца, пострадавшего от государственного давления. Для Зимина выбор между свободой мысли и обслуживанием власти не укладывается в простую дуалистическую модель бескомпромиссных правдолюбцев (овнов) и прислужников режима (козлиц): как реалист он пытается нащупать границы компромисса, приспособления, сотрудничества с властями пре-

держателями. С сарказмом и симпатией одновременно автор повествует об убежденном историке-марксисте, который и в 1930-е и в 1960-е старался следовать духу времени, убежденно продвигая в области исторических исследований последние постановления партии-и-правительства, заряжая своим энтузиазмом учеников и одновременно замолкая в ситуации, когда не мог точно понять, куда клонится вектор идеологической борьбы⁵⁴. С сочувствием и горькой иронией он пишет об ученых дореволюционной генерации, которые должны были «учиться марксизму», вставлять цитаты, привыкать молчать и учеников «учить помалкивать». С очевидным неодобрением он пишет о «ревизионистах» 1960–70-х гг., стремившихся пересмотреть основные схемы марксистской социологии истории. Однако самое резкое презрение и гнев вызывают у него ученые, писавшие установочные опусы в свете текущих «решений и постановлений» или прямо фальсифицировавшие образ прошлого⁵⁵ в угоду политико-идеологическим задачам. Это позволяло им, предавая совесть ученого, делать карьеру и самим становиться главными цензорами и чиновниками в рамках научного сообщества.

Итак, трезвый взгляд Зимина на негативную и, порой, страшную роль власти не делает государство главным актором в представленной им картине развития советской исторической науки. Ее достижения и провалы — результат деятельности отдельных ученых или их коллективных инициатив. Создавая образ российского исторического сообщества, автор использует два структурных принципа: демонстрация временного континуума, показывающего развитие науки как непрерывный процесс смены и преемственности поколений, и характеристика отдельных структурных и институциональных элементов, образующих целостную систему формальной организации научной работы.

Тема коммуникации и взаимного влияния ученых разных поколений занимает, кажется, центральное место в рассуждениях Зимина о развитии исторического знания. Рассказывая о научной среде в отдельных научных организациях (Институт истории,

⁵⁴ С. 44–46.

⁵⁵ Почти эпический размах приобретает у Зимина фигура Б. А. Рыбакова, в котором он видит абсолютное воплощение Зла, разрушающего профессию и профессиональное сообщество: глава «Сатана там правит бал» С. 193–205. О Рыбакове и его сочинениях см.: *Новосельцев А. П.* «Мир истории» или миф истории? // Вопросы истории. 1993. № 1. С. 23–31.

университет и Историко-архивный институт, ленинградские академические учреждения, архивы), он неизменно начинает с характеристики ученых старшего поколения, описывает круг их учеников (в формальном и неформальном смысле слова), характеризует пути передачи научного опыта, исследовательских подходов и проблематики. Подробно описывает он и методы преподавания в гуманитарных вузах и коммуникативную модель ученичества, образование «школ» в процессе профессионального образования.

Нетрудно заметить, что ученые старшего поколения, становление которых пришлось еще на дореволюционные годы, вызывают у Зимина в целом большую симпатию, чем историки уже советской формации, те, кого в диапазоне одного-двух десятилетий можно назвать его ровесниками и младшими коллегами. «Стариков» он воспринимает как учителей, вне зависимости от того, учился ли он у них непосредственно: опыт совместной работы и человеческого общения имеет, в его глазах, большее значение для профессионального становления ученого, чем формальное обучение⁵⁶. Взаимодействие с ними описывается в категориях почти семейной, родственной коммуникации. Скептическое отношение к интеллектуальным или научным заслугам стариков и некоторым особенностям характера не лишает рассказ Зимина флера сентиментального любования их цельностью и твердостью. Даже совершая сомнительные в моральном и профессиональном плане действия, связанные с необходимостью выживания или карьерной борьбой, они, в восприятии автора, сохраняют черты идеалистически типизированных фигур из «мира абсолютных ценностей»⁵⁷. Подобной снисходительности не заслуживают младшие и старшие коллеги Зимина, которым строго засчитывается каждый их неверный шаг, обусловленный политической конъюнктурой или карьерными соображениями, равно как и научная вторичность или поверхностность исследований.

⁵⁶ «Секторские “старики” для меня остаются недостижимым эталоном честного и подвижнического служения науке. Раздавленные мощной поступью времени, они где-то в самых основах жизни сохранили бескомпромиссность, трепетное отношение к Истине». С. 70.

⁵⁷ «Вот любопытно — то, что у Голубцова, Бережкова, Насонова их работа, имевшая точки соприкосновения с официальной, по существу шла где-то в своем мире, только им принадлежавшем. Единственном. Неповторимом». С. 73.

Ученые старшего поколения выступают не только как учителя молодых советских историков, но и как хранители старой академической научной традиции, не случайно Зимин педантично указывает, чьими учениками и учителями были ученые разных поколений или к какой научной традиции они принадлежали⁵⁸. Следует сказать, что автор не дает сколько-нибудь развернутой характеристики развития историографии русского Средневековья, а потому его дефиниции «московской» и «питерской» школ, «лаптеведения» и «охотнорядской» истории, научного источниковедения и фактоведения имеют назывной, а не аналитический характер⁵⁹. Дилетанту они предстают маркерами авторского понимания трансляции и рецепции академической традиции в советской научной среде, осуществлявшихся помимо и вопреки внедрению новых идеологических и методологических схем, а специалисту — оценками, заслуживающими рассмотрения в «длительном времени» развития российской историографии. Зимин, фиксируя разрывы традиции⁶⁰,

⁵⁸ Например, характеристики некоторых ученых: С. В. Бахрушин (учитель Зимина) привил ученику почтение к Шахматову: «Основное в его научном подвиге было то, что он сумел передать факел исторической науки, который получил от ученых прошлых лет, историкам новой формации» (С. 65); М. Н. Тихомиров: «Свой. Замоскворецкий» (С. 174), в коммерческом училище его учителем истории был Греков, в Университете (с 1912) — Бахрушин, который оказал влияние на «сложение» тематики и методики работы, «как историк родился после Октября» (С. 157), «в годы господства “школы Покровского” ... был далек от дискуссий по общим вопросам» (С. 158); «сделал для науки много. В первую очередь тем, что содействовал воспитанию целой плеяды учеников, сохранивших лучшие тихомировские качества» (С. 167); Б. А. Романов: «был божеством. Учителем и Историком по преимуществу», создал две школы — феодалов и империалистов, «был учеником Платонова, А. Е. Преснякова, бывал на занятиях Лаппо-Данилевского», «передал факел знания целому поколению молодых ученых», которые смогли избежать «искушения чистой фактологии, вульгарного социологизма, или бездоказательных выдумок» (С. 112–114).

⁵⁹ Безусловно, приоритет в становлении строгой научной традиции в источниковедении и изучении российской истории Зимин отдает петербургским историкам дореволюционного периода. Московскую традицию он характеризует как бытописание («лаптеведение» — термин Н. И. Павленко, друга и многолетнего коллеги Зимина), где недостижимой и одинокой вершиной был Ключевский. С. 60–61.

⁶⁰ После 1917 г. «старички годились лишь на полную переплавку», «тихие пришибленные ученые старались делать вид, что ничего не произошло. А молодежь уходила из-под их контроля, тянулась к глобальным построениям. И только некоторые грелись у потухающих костров»; «Удар по Петербургу был особенно

тем не менее отмечает непрерывность в развитии русской медиовистики и верит в важность процесса передачи исследовательского опыта «из рук в руки», от поколения к поколению⁶¹, от учителей — ученикам⁶². Сохранение этой преемственности для развития науки, очевидно, важнее любых политических потрясений.

Заслуживает внимания тот факт, что в мемуарах, написанных во второй половине 1970-х гг., главными авторитетными фигурами как с точки зрения методологии исследования, так и концептуальных обобщений выступают ученые «прошлого века», «дедушки», фактически мифологические предшественники для автора — А. А. Шахматов и В. О. Ключевский⁶³. Следует подчеркнуть, что они предстают не просто как классики и основоположники научного изучения древнерусской истории, но именно как актуальные исследователи⁶⁴. Это, конечно, вызывает известное удивле-

силен. До революции столица славилась европейским уровнем источниковедения (А. С. Лаппо-Данилевский и А. А. Шахматов) и казенной, придворной наукой (С. Ф. Платонов). После 1930 г. остатки былого великолетия были ликвидированы» (С. 60–61). Об университетском преподавании: «Резкий разрыв относится к 1950–1952 гг., когда умерли К. В. Базилевич, С. В. Бахрушин и Б. Д. Греков» (С. 233).

⁶¹ О «секторских стариках»: «На этой-то почве и начала возрастать наука будущего». С. 72–73.

⁶² «Ученики были для меня дороги, как добрые и увлеченные жизнью люди, к тому же становящиеся продолжателями нашего общего дела». С. 269. С горечью Зимин упоминает многочисленные случаи, когда историки, подчиняясь конъюнктурным соображениям, предавали в публичных выступлениях своих учителей и тех историков, к «школе» которых они принадлежали логикой профессиональной преемственности. Так, А. Л. Сидоров принял непосредственное участие в разгроме «школы Покровского», своего учителя в 30-е годы (С. 45). О Черепнине как «ученике» и «учителе»: в эпоху «борьбы с космополитизмом» (1948 г.) в его книге панегирик Шахматову заменен («не успел трижды петух прокричать!») на «критику и Лаппо-Данилевского, и Веселовского, и Шахматова», «“Школа Черепнина”! Печать ее создателя отметила почти всех его учеников. Это вульгарный социологизм и стремление к карьере, основе благополучия» (С. 172, 184). В. Т. Пашуто в 1949 г. «обрушивается на одного из своих учителей А. И. Яковлева» за «панегирик буржуазному ученому Ключевскому», а в 1952 г. — «обрушивается на Шахматова как на буржуазного источниковеда» и походя пнул и своего учителя М. Д. Приселкова (С. 226).

⁶³ В меньшей степени значим для Зимина А. С. Лаппо-Данилевский, хотя и его он неоднократно упоминает как одного из столпов строгого российского источниковедения.

⁶⁴ «Благодаря Бахрушину на всю жизнь полюбил Шахматова и его удивительную методику», в Университете, в семинаре С. В. Бахрушина «определился и мой интерес к истории Древней Руси и мое восхищение гением Шахматова».

ние, учитывая бурное развитие, смену парадигм и многообразие исследовательских методик в мировой медиевистике послевоенного времени. Очевидно, что автора это движение интересует в очень незначительной степени, несмотря на очевидное знакомство с некоторыми новыми направлениями и моделями интерпретации социальной истории.

Идеал ученого, который можно реконструировать на основании многочисленных индивидуальных портретов, созданных Зиминим, имеет отчетливо консервативный характер, хотя многое в нём отсылает к фундаментальным чертам исследователя-историка как типического персонажа Нового времени. Фигурой, в которой максимально сконцентрированы эти черты, предстает С. Б. Веселовский, который занимает центральное место в галерее положительных героев⁶⁵. Прежде всего, это ученый, беззаветно преданный изучению прошлого и населявших его людей, бескорыстно занимающийся своим ремеслом и предпочитающий радость познания любым прагматическим и меркантильным соображениям. Другой важнейшей чертой настоящего историка предстает сосредоточенность на поиске и обнаружении новых источников, работа в архивах, тщательное установление достоверности фактов и максимально объективное использование их при нарративной реконструкции прошлого в своих исследованиях. Всякое теоретизирование, обобщение, подчинение исторического материала абстрактным концепциям (романтизм, фантазирование) кажется Зимину потенциально опасным, диктуемым не столько стремлением узнать правду о прошлом, сколько желанием использовать прошлое для обоснования собственных идеологических убеждений⁶⁶, достижения материального и карьерного благополучия⁶⁷ или как орудие борьбы с противниками⁶⁸. Осто-

С. 61, 232. О Ключевском: «Ключевский стал для меня вроде как бы родственником. Глубокое чувство к нему я пронес сквозь всю жизнь». С. 58, 371, 376.

⁶⁵ Глава «Несравненный Степан Борисович». С. 147–156.

⁶⁶ Здесь, безусловно, главным антигероем предстает Б. А. Рыбаков, который был не столько слугой, сколько столпом господствующей идеологии.

⁶⁷ К этой категории, карьеристов и конъюнктурщиков, можно отнести многих героев мемуаров: от больших фигур, таких как В. Л. Черепнин, до чрезвычайно низко оцениваемых Зиминим, однако популярных в научной среде и массовой аудитории историков, таких как В. Т. Пашуто, З. О. Шмидт, Р. Г. Скрынников.

⁶⁸ В этом ряду абсолютное первенство может быть отдано Д. С. Лихачеву. Впрочем, всем заслужившим внимание Зимина современникам и воспринятым

рожное отношение автора к теоретизированию и пристрастию к объяснительным моделям отражает, в первую очередь, опыт советского историка, пережившего разнообразные по содержанию и направленности «кампании» принудительного внедрения в историю тех или иных социологических схем и оценок. Итогом подобной управляемой властью «концептуализации» истории было двойное насилие — интеллектуальное и социальное: с одной стороны, над фактами и правом их интерпретации, с другой — над несогласными с «партией и правительством» учеными. Это придавало естественной конкурентной борьбе за авторитет внутри сообщества уродливые, гротескные и, нередко, ужасающие черты⁶⁹. Вместе с тем здесь присутствует и фундаментальный консервативный взгляд на историю как эмпирическую науку, где доказательство достоверности факта или письменного источника имеет абсолютную важность в сопоставлении с «умствованием» — толкованием и интерпретацией, способным связать разрозненные и отдельные факты в целостную картину исторического процесса⁷⁰. Ученый, сосредоточенный на фундаментальной работе, свойственной его ремеслу, — нахождении новых текстов и свидетельств, подтверждении их достоверности — с недоверием относится к концепции гуманитарного знания, как сфере борьбы «дискурсов» и интерпретаций. Для него это пахнет шарлатанством и «борьбой за академический авторитет»⁷¹.

Истинный ученый, в восприятии Зимины, не зависит в своем творчестве от политического заказа или научной моды⁷². Он исследует свой материал, руководствуясь собственной интуицией и совестью в поисках истины и восстановлении исторической

как антагонисты его идеальной модели «служителя Храма и истины» вышеуказанные мотивы присущи в равной степени, но в разных пропорциях.

⁶⁹ Зимин прекрасно характеризует возможные последствия подобного научного конфликта в характерном для его времени социальном контексте: «Пашкевич за критику Рыбакова угодил в спецхран ... В самом деле, покушаясь на академика, не опорочивает ли он тем самым советскую науку? А раз так — то и саму Советскую власть!». С. 204.

⁷⁰ «“Теорию” (любую) он отвергал как занятие умственное, к истории отношения не имеющее» (о Веселовском). С. 150.

⁷¹ «тщета ухищрений хитроумных портняжек от исторической науки». Там же.

⁷² Такое поведение Зимин описывает как направленное «против течения», «поперечное»: «всю жизнь шел «против течения» (Веселовский), «поперечный сумасброд» (А. А. Любищев).

правды⁷³. Верность призванию и служение истине Зимин обнаруживает у ученых разных поколений, главным образом, «стариков» и своих учеников, и лишь изредка — у своих ровесников (Я. С. Лурье, А. Я. Гуревич⁷⁴) и людей предыдущего (А. И. Клибанов) и последующего поколения⁷⁵. Используемая Зиминим оппозиция истинного ученого и «научного сотрудника» (историка, предавшего свое призвание ради прагматических целей или просто манипулятора) выходит за пределы простой парадигмы противостояния интеллектуала и власти или свободного ученого и слуги режима, традиционно описывающей советские реалии⁷⁶. Зимин с тем же саркастическим презрением, как и генералов советской науки, характеризует и западных светил русистики, задававших тренды в зарубежных исследованиях⁷⁷, и отечественных теоретиков⁷⁸, отчаянно боровшихся против господствовавших в

⁷³ «увлеченность и честность исследователя, для которого прежде всего радость познания истины», «в духе С. Б. Веселовского» (о А. Л. Хорошкевич).

⁷⁴ «Отказавшись от сладкого пирога, Арик, легкий, ясный, увлеченный наукой, может дышать полной грудью и познавать мир удивительных ушедших в далекое прошлое деяний» (А. Я. Гуревич). С. 256. «Никаких авторитетов — только свидетельства источников», «В секторе он — главная после Лихачева фигура», но «в известной степени чужак», «больше всего дорожит самостоятельностью своих мнений и не склонен идти в колеснице победителя» (Я.С. Лурье). С. 186, 187.

⁷⁵ Зимин самым превосходным образом характеризует своих учеников — формальных и неформальных.

⁷⁶ Размышляя о том, «что объединяет всех моих учеников», Зимин противопоставляет «своих детей» «честолюбцам-рационалистам» — «труженики, сохранившие чистоту помыслов и душевную теплоту», «обручившись с историей, становятся ее верными, преданными спутниками “на всю оставшуюся жизнь”», «беспросветные, безнадежные идеалисты», «ко мне шли они не за лаврами..., а чтобы выпить сполна дурманящую чашу познания прошлого, чтоб быть сопричастными тому, что их сделало людьми, вспомнить с благодарностью своих отцов и пращуров». С. 273.

⁷⁷ Р. Якобсон — «авантюрист», «без чести и совести», «сумел стать главою структуралистов, последователей Трубецкого», «типичный гангстер», «стремление к наукообразному флеру, трюкачество, честности ни на грош, но зоркий и сильный ум, несомненно». С. 338, 339. Эдвард Кинан: «американский Рыбаков. ...Если для Рыбакова ключ к истории фальшивки, которые он объявляет подлинными документами, то для Кинана — подлинники, которые он считает фальшивками», «Уж очень он сам плут». С. 343, 345.

⁷⁸ См. резкую характеристику М. Я. Гефтера и его усилий по пересмотру основных схем исторического развития, господствовавших в советской историографии: «типичный образец демагогов-схоластиков», «началась его борьба

советской науке схем и объединявших сплоченные группы последователей.

Свой случай — историю с обсуждением работы, опровергавшей конвенциональную датировку Слова о Полку Игореве — Зимин представляет как опыт борьбы за свободу мысли («надоела брехня»)⁷⁹, главной целью которой были не политико-идеологические, а научные конвенции⁸⁰. Настоящий ученый должен быть скептиком, сомневающимся в истинности любого общепринятого суждения, однако опровержение устоявшихся в науке суждений не может быть самоцелью, интеллектуальным трюкачеством, преследующим прагматические цели⁸¹. Только честное и подкрепленное большой исследовательской работой «открытие» имеет

за “истинную теорию”», отошел от конкретной истории и «стал теоретиком», «вперед-назад к Ленину». С. 246–247.

⁷⁹ К истории спора о подлинности «Слова о полку Игореве» (из переписки академика Д. С. Лихачева) // Русская литература. № 2. 1994. С. 233.

⁸⁰ С. М. Каштанов вспоминает, что Зимин «неоднократно говаривал то ли в шутку, то ли всерьез, что все, написанное им до “Слова”, ничего не стоит, что как исследователь он родился только со “Словом”». *Каштанов С. М.* Александр Александрович Зимин (1920–1980) // Александр Александрович Зимин: Библиографический указатель. М., 2000. С. 10, 27–28. Подробнее об истории обсуждения исследования Зимина и влиянии этого события на научную биографию ученого, с учетом многочисленных публикаций архивных материалов и полемических статей, появившихся с 1990-х гг., см.: История спора о подлинности «Слова о полку Игореве»: Материалы дискуссии 1960-х годов / Вступительная статья, составление, подготовка текстов и комментарии Л. В. Соколовой. СПб, 2010; *Базанов М. А.* Предыстория обсуждения книги А. А. Зимина «Слово о полку Игореве»: опыт реконструкции событий // Мир историка: историографический сборник / под ред. В. П. Корзун, С. П. Бычкова. Вып. 7. Омск, 2011. С. 301–329.

⁸¹ Говоря о негативных чертах личности ученого, Зимин в первую очередь избличает стремление к власти и корыстолюбие (игра страстей), стремление обслуживать «сильных мира сего» ради личного благополучия и карьерного успеха, а в собственно профессиональном плане — поверхностность и отступление от строго научных принципов анализа источников или готовность с холодным цинизмом манипулировать процедурами формально безупречного анализа. Моральная ущербность, которую он с легкостью диагностирует у лично знакомых ему ученых, неизменно имеет своим следствием и их научную деградацию — даже врожденные талант и интеллект в сочетании с основательной «технической вооруженностью» при отсутствии искренней любви к поиску истины не позволяют им восстанавливать полную правду о прошлом. «Для науки о человеке аморальность исключена, ибо только ученый, любящий своего собрата, друга, кем бы он ни был, способен понять собрата, жившего

научный смысл: личная мораль⁸², трудолюбие и профессионализм выступают в своем неразрывном единстве, и отсутствие даже одного из этих качеств обрекает исследователя на неудачу. Зимин отмечает успехи ученых, своих коллег, способных на оригинальное и смелое суждение, однако, сам редуцирует понятие научного «открытия» и «новизны» к чистому источниковедению: работа в архивах и открытие новых документов, тщательный текстологический анализ и новая датировка, скрупулезное сличение списков одного произведения и новая филиация редакций или реконструкция утраченного архетипа⁸³.

Шахматовский метод — абсолютный ориентир научного исследования для Зимина, что не отрицает возможностей его усовершенствования и модернизации, разработки новой источниковедческой методологии «системы систем»⁸⁴. Именно методология источниковедения стала единственной сферой теоретической рефлексии Зимина, если отбросить серию дежурных статей и размышлений о периодизации и классовой борьбе, подтверждавших лояльность ученого марксистской теории истории⁸⁵. Аутентичный факт и источник создают единственное прочное основание для обобщения, могут быть аргументом в споре с любой авторитетной концепцией, индукция вместо дедукции в историческом расследовании (Агата Кристи вместо Артура Конан Дойла⁸⁶) — эти

сто или тысячу лет назад. Лживый же честолюбец в реальной жизни не может быть правдивцем в науке». С. 36–37.

⁸² Так он пишет о своих учениках в институте: «труженики», «беспросветные, безнадежные идеалисты», «были озарены великим счастьем — добротой своих сердец, любовью к этим нелепым, грубым, подчас жестоким, но все же прекрасным, как говаривала моя тетка Вера, людям». С. 273, 274.

⁸³ О Зимине — источниковеде и текстологе см.: *Панеях В. М.* Вспомогательные исторические дисциплины в научном наследии А. А. Зимина // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 14. Л., 1983.

⁸⁴ *Зимин А. А.* Трудные вопросы методики источниковедения Древней Руси // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М., 1969. С. 437: «разные планы (или, условно говоря, «системы») анализа».

⁸⁵ *Базанов М. А.* К вопросу о методологии источниковедения А. А. Зимина: «источниковедение системы систем» и работы по проблемам дипломатики // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XXII международной научной конференции. Москва, 28–30 янв. 2010 г. / отв. ред. М. Ф. Румянцева. М., 2010. С. 140–143.

⁸⁶ «“Система Шахматова” (или Конан-Дойля) столкнулась с “системой систем” (или Агаты Кристи)». Храм. С. 329.

принципы работы были близки Зимину и объединяли его в человеческом и профессиональном отношении с одним из крупнейших ленинградских филологов-русистов Я. С. Лурье⁸⁷. Следует отметить, что любовь к истине и науке, в представлении Зимина, неотделима от любви к истинному предмету исторического исследования — некогда жившим и давно умершим людям⁸⁸.

Научная жизнь и жизнь научного сообщества представлены Зиминим в непрерывном движении времени, как текучая социальная материя, вся сотканная из элементов наследия и трансформации, связи поколений и взаимного общения. Зимин считает, что главная задача его поколения — сохранить память об учителях (а через них и о гораздо более глубокой традиции) и передать ее своим ученикам, быть связующим звеном между прошлыми и будущими учеными⁸⁹. Следует отметить, что интонация автора при изображении ученых разных поколений отличается разнообразием. Теплота и благожелательность, мягкая ирония и симпатия пронизывают рассказы о «стариках» и о «детях», учениках Зимина. В то же время его многолетние коллеги — ровесники, ученые старшего и младшего поколения — в основном удостаиваются язвительных и почти памфлетных характеристик, что говорит о более комфортном ощущении автором своего положения в диахронном ряду «служителей

⁸⁷ «Право на свободную мысль и обязанность благожелательного отношения к людям — неписаные условия дружбы»; «В дни Слова Яша был всегда со мной. ...Правда, именно он оставался “истинным скептиком”». С. 188.

⁸⁸ Работа в архиве и изучение рукописей были для автора способом проникновения в жизнь и души людей далекого прошлого: С. 363–364: «неповторимое чувство преодоления временного барьера», «ты становишься современником создателя... соучастником»; С. 364–365: «Ты кудесник, отправившийся на крыльях машины времени в далекое прошлое. Сможешь ли ты воскресить его? Конечно, нет, но представить свой собственный образ ушедших, конечно»; С. 375: «В работах по изданию текстов вырабатывалось внимание и чутье к словам и буквам, через которые дух времени проникал в тебя, как воздух. Сидишь, сверяешь описки, а мысль напряженно работает, стараясь понять нюансы текста. Нет, только хлебнув такого конкретного труда над текстами, можно стать сопричастным тому времени, к которому они относятся».

⁸⁹ «Хотя для меня так называемое творчество — несоизмеримо с радостью человеческого общения с друзьями старшего, моего и младшего поколений. Факел горящих человеческих сердец, освещающий путь к счастью. И если в нем есть и моя искорка, то, значит, жизнь прожита достойно. Но во всяком случае именно люди, а не книги всегда составляли главное в моей жизни». С. 369/

Храма», чем в системе актуального взаимодействия, во многом пронизанного игрой амбиций и соперничеством⁹⁰.

За рассуждениями автора о бездушии, цинизме, интеллектуальном трюкачестве отдельных историков порой видится чисто личная неприязнь и психологическая несовместимость, возможно, связанная и с поколенческим соперничеством⁹¹. Младших коллег он упрекает в «шустрости», т. е. готовности оперативно откликаться в своих работах на актуальную тематику, стремлении угождать своим патронам, от которых прямо зависела их академическая карьера, а также нежелании поддерживать ученых, попавших в опалу. Личная симпатия и высокая профессиональная оценка адресованы преимущественно тем младшим коллегам, кто помог ему в ситуации «борьбы за Слово» (1963–1964) и разделял его призыв к оспариванию закостеневших научных истин. Между тем текст мемуаров свидетельствует, что

⁹⁰ Возможно, это связано с не пережитой травмой, нанесенной обсуждением в 1963–1964 гг. его работы с радикальным пересмотром времени происхождения Слова о полку Игореве и запретом на публикацию пространного исследования на сей счет.

⁹¹ Глава «Бесы». С. 212–223. Вот лишь некоторые из характеристик молодых коллег Зимина, многие из которых живы и по сей день, завоевав репутацию крупных ученых: «Кем бы ни был порожден бес, его так или иначе тянет к сатане (пусть духовными отцами его будет кто-либо из других сильных мира сего — Большой Лев, Михаил Топтыгин и т. п.)» / «у них, как и полагается нечистой силе, холодный, иногда хорошо развитый разум», нет сердца, держатся стаей и готовы на все, «бесконечно тщеславны» / пришли после Двадцатого съезда. «...стараясь показать, что именно они-то и есть те чистые и непорочные, которые и сменяют вульгарных социологов прошлых лет», на их знамени «начертали факт», «с довесочкой “источниковедчески осмысленный”, “интерпретированный”», «а там нет да нет сплутуют», «в бессмертие души они, конечно, не верят» / С. 213 «А раз нет главного (души), то и факт ускользает куда-то, как синяя птица». «Начальство ... надо обслуживать, чтобы выбиться в люди» / «бесы (в отличие от лаптеведов) — рационалисты, честолюбцы, лишь прикрываются покровом фактов. ...все они древники ... Ученость у них страшнейшая», попробуй тут разберись, «где правда, а где ложь», «но они профессионалы» / С. 219 (Рогов) «когда души-то (главного начала творчества) у него, как и у других бесов, вовсе не существует» / С. 220 А. Кузьмин — последний ученик Тихомирова, первый подобран Рыбаковым: «Ему близка и охотнорядская философия, и варварская методика исследования» / С. 223 Как быть с юнцами, «профессионально (технически) они вполне соответствуют необходимым требованиям, а морально — нет», «бесы, неужели они идут на смену людей?»

и сам автор в молодости воспринимался «стариками» как такой же «шустрый», чрезмерно активный начинающий ученый. Более того, Зимин и сам не чурался покровительства столпов официальной науки и представителей «высших инстанций»⁹². Очевидно, в течение жизни историк прошел серьезную человеческую и интеллектуальную эволюции, которую, однако, обозначил в своих мемуарах лишь пунктиром.

Для читателей, так или иначе связанных с российской академической и университетской средой, будут интересны остроумные и местами едкие наблюдения Зимина над принципами организации исследовательской и преподавательской деятельности. В книге описывается жизнь и система отношений в академических институтах (Институт истории, Пушкинский Дом), университетах (МГУ и Историко-архивный институт), архивах и библиотеках. К своему изумлению, читатель второго десятилетия XXI в. обнаружит, что с середины прошлого столетия не произошло существенных изменений формальных и неформальных институтов, включая типические модели официальной и межличностной коммуникации в научных сообществах. Автор мемуаров не создает специального исследования об институтах и моделях взаимодействия в научной среде, но в густой вязи его рассказа об отдельных людях, их поступках и манере общения можно обнаружить и те аспекты, которые относятся к «принципам» и «типическим моделям» устройства советской науки.

Зимин показывает, что научные институции были интегрированы в систему государственного управления. Эта интеграция обеспечивалась практикой прямого политико-административного контроля буквально во всех сферах: кадровая политика, прежде всего назначение руководителей учреждений, но и отбор сотруд-

⁹² Ныне известные материалы об истории «борьбы за Слово» свидетельствуют, что Зимин и сам не пренебрегал «трюкачеством», т. е. не вполне честными действиями и аргументами, и обращением к «властным авторитетам», в чём он упрекал своих оппонентов (прежде всего, Лихачёва). Его чисто академический, научный интерес источниковеда к проблеме датировки текста отнюдь не был свободен от амбициозного желания быстрой славы в качестве «ниспровергателя» основ и авторитетов. Антитеза, в которой «ересиарх» и вольнодумец Зимин противопоставит «подвижникам правоверия» (Лихачёв), защитникам икон (Тихомиров) и охранителям государственных основ (академическая и партийно-государственная бюрократия), не столь очевидна в свете всего корпуса опубликованных в последние десятилетия архивных материалов. См. примеч. 79.

ников; формирование корпуса академиков; подчиненное взаимодействие академических учреждений и партийно-государственных органов; вмешательство властных инстанций в планирование исследований; контроль над содержанием работ — от прямой цензуры до всевозможных проработок и критики квази-научного характера. Директор академического института («первосвященник») ⁹³ прямо назначался властями и фактически был чиновником, поставленным управлять конкретной организацией. Основопологающими критериями при его выборе были идеологическое «правовереие», подтвержденное высшими и надзирающими инстанциями, и административное послушание ⁹⁴. В своем собрании рассказов о директорах Института истории, при которых ему довелось работать, Зимин определяет закономерность: «чиновников назначали учеными» ⁹⁵. Этот приговор кажется верным лишь отчасти. Из упомянутых в мемуарах директоров некоторые никак не подходят под определение «чиновника» (Б. Д. Греков, А. Л. Сидоров, П. В. Волобуев, Б. А. Рыбаков ⁹⁶). Иные из названных автором лиц (В. М. Хвостов, А. Л. Нарочницкий) ⁹⁷, впрочем, могут

⁹³ Глава «Первосвященник в храме». С. 39–56.

⁹⁴ «Пан-директор должен прежде всего исполнять, а потом уже решать. Он должен быть управляем, т. е. стоять навтыяжку и понимать с полслова. ...Его задача быть приводным ремнем, и только. Занимается при этом он наукой или нет, его собственное дело. Но помнишь-то он должен, что его наука не должна касаться основ, во всяком случае входить с ними в противоречие» С. 40. Это правило, впрочем, действовало и при назначении на более низкие административные должности в академических институтах и университетах. О назначениях низшего звена в Институте, МГУ, Историко-архивном Зимин пишет с большой долей горькой иронии и сарказма.

⁹⁵ «Раньше ученых стремились делать чиновниками, теперь все больше чиновников начинают награждать всякой всячиной (академическими званиями) и именовать учеными». С. 40.

⁹⁶ Им, скорее, подойдут термины «буржуазный специалист», комиссар, красный директор, амбициозный честолюбец. Каждый из них, со всеми возможными оговорками, принадлежит к числу научных энтузиастов, призванных стать связующим звеном в системе государственного контроля над историей. В ситуации изменения «партийной линии», когда их личные научные убеждения вступали в противоречие с политико-идеологическими установками, они либо замолкали (Сидоров) либо их снимали с руководства (Волобуев) или мягко оттесняли с господствующих позиций (Рыбаков).

⁹⁷ «большой чиновник от науки» (Хвостов), «при Хвостове все в институте взвыли» С. 48; «ратовал за решительные меры против всяких ревизионистов» (А. Л. Нарочницкий). С. 54.

быть названы «чиновниками» от науки в собственном смысле слова, поскольку просто выполняли порученные им управленческие функции и отчасти напоминают «эффективных менеджеров» наших дней, готовых выполнять обязанности руководства чем угодно — от «трубы» до просвещения и духовного воспитания.

Тот же принцип отбора — назначение чиновников в науку — Зимин видит и в системе выборов в состав членов академии⁹⁸. Партийность, лояльность, «актуальность» исследований играли в этой процедуре выбора «бессмертных» важнейшую роль, но отнюдь не отменяли значимости личных взаимоотношений и интересов внутри сообщества. Борьба за избрание в академики и члены-корреспонденты имела, прежде всего, карьерную подоплеку, поскольку приобретение этого статуса открывало широкие перспективы управления научной политикой и доступ к инструментам институционального контроля: руководящим должностям в организациях и всевозможных комиссиях и комитетах, управлению изданиями, возможности распоряжаться финансами. Зачастую избрание использовалось и как средство поощрения партийных чиновников, и как инструмент формирования влиятельных групп внутри научного сообщества. «Академические скачки» в изображении автора имели отношение к борьбе за власть внутри сообщества, а потому так важно было протолкнуть «своих» кандидатов и воспрепятствовать проникновению соперников. Одновременно предоставлялся шанс подтвердить лояльность руководящим партийным и государственным инстанциям. К науке как таковой статус академика практически не имел отношения: в ряды «бессмертных» легко попадали авторы, практически не имевшие научных трудов, вся интеллектуальная активность которых ограничивалась руководством коллективными изданиями или написанием дежурных установочных докладов и сообщений. Практика игнорирования репутации ученого в профессиональном сообществе и сведения выборов к межгрупповой борьбе в рядах академической «элиты» оказалась весьма живучей традицией, нивелировавшей академические звания до индикатора личного статуса в научной иерархии.

Можно назвать и другие страшноватые в своей абсурдной забавности черты жизни научного сообщества. Например, хорошо понятна ирония Зимина по поводу написания многотомных кол-

⁹⁸ «Академические скачки». С. 300–308.

лективных трудов, научное значение которых было ничтожно, поскольку их содержание не было обеспечено серьезными монографическими исследованиями отдельных проблем и сюжетов, однако они должны были отражать актуальные идеологические установки⁹⁹. Не случайно в ходе своей (как правило, долгосрочной) подготовки они должны были подвергаться редактированию в соответствии с меняющимся государственно-политическим трендом. Примечательна и тенденция вырабатывать некую «общую позицию» советских ученых на те или иные проблемы, которая ставила в положение «отщепенцев» или «ересиархов» исследователей, отстаивавших особый подход к их решению. Подобная практика, наряду с собственно интеллектуальной, имела и очевидные вненаучные основания: укрепление позиций отдельных научных лидеров, демонстрация ими лояльности власти и одновременно формирование сплоченной клиентелы из ученых, объединенных борьбой с общим врагом. Эта практика из поколения в поколение воссоздавалась и продолжает воспроизводить себя вновь и вновь.

Сохраняет свою горькую актуальность и критика Зиминым некоторых других элементов научной жизни: закрытость архивов и пробелы в описи фондов, использование административной власти внутри институтов как средства борьбы с неугодными учеными (от запрета публикаций до отказа в утверждении плана индивидуальных исследований, защиты диссертации или переаттестации); зависимость научного проекта от умения начальника ладить с политическим руководством; замена открытой научной дискуссии подковёрной борьбой и риторикой, выстроенной в соответствии с «общепринятыми» суждениями. В области университетского преподавания важной и до сих пор актуальной остается критика автором системы т. н. «общих лекционных курсов» и апология спецкурсов и семинаров как главного инструмента формирования у молодых людей навыков критического мышления и

⁹⁹ С. 90–103. Автор пишет, что основным занятием сектора в 40–60-х гг. было создание «всякого рода многотомников», свой опыт редактирования которых он описывает так: «в “духе и свете” мы истребляли церковность, вводили прописные истины, связывали с общим процессом и т. п.» С. 90. См. также: «“Очерки истории СССР” — Левиафан исторической науки ...бессмысленность его очевидна», т.к. он не подготовлен монографиями, «громоздок и поверхностен одновременно... Теперь к ним никто не обращается». См. аналогичную ситуацию в ЛОИИ. С. 110.

тренинга в практическом исследовании. Забавной и вечно актуальной представляется критика процедуры защиты диссертаций: любая изобретательность в деле ужесточения формальных процедур и регламентов не создавала значимых преград на пути появления недобросовестных и поверхностных работ. В этой связи на ум приходит успокоительная мысль: хорошо, что автор не дожид до нового тысячелетия!

* * *

Хорошкевич называет сочинение Зимины мемуарным, историографическим, философским (мемуарно-историографо-философское сочинение, С. 28), отражающим остро осознаваемый ученым конфликт между «жаждой истины и реальными условиями ее достижения». Представляется, что эти мемуары писались не для того, чтобы посмертно ответить своим недоброжелателям или людям, которых недолюбливал сам автор. Предельная искренность автора (очевидная при самом поверхностном чтении) указывает на его потребность наконец и окончательно высказать свое истинное мнение о «людях и вещах», с которыми прошла вся его сознательная жизнь, то, что не могло быть сказано в лицо или публичном пространстве. В них есть что-то от высказывания «подпольного человека» Достоевского — одновременно и предельно искреннего и антипатичного, поскольку с точки зрения внешнего восприятия автор мемуаров сводит счеты с людьми, которые заведомо не смогут ему ответить или будут вынуждены оправдываться заочно. Однако все это искупает, как кажется, главный мотив — предельно искренне, без оглядки на этикет и мнение общественности, рассказать о сообществе, в котором прошла вся жизнь, и нахождение в котором было неизбежным условием осуществления собственного призвания. Возможно, сформулировать свои мысли и впечатления для себя самого было не менее важно, чем поведать их миру. В тексте Зимины есть всё: и восторг, и желчь, и яд уязвленного самолюбия, и почти религиозный пафос служения, и мудрость, и почти подростковые субъективность и максимализм, и нежелание мерить себя той же мерой, что автор отмерял своим героям. «Боль и тяжесть при чтении этих мемуаров», по меткому определению Хорошкевич, связаны не только с ярким воспроизведением подлостей и глупостей окружавшей историка среды, но и с кровотокающей искренностью автора, не желавшего очистить свои воспо-

минания от горечи обид и неприязни. Впрочем, возможно самым болезненным для него было бы то, что его читатели почти 40 лет спустя не могут «читать и удивляться многому», что происходило в «славное шестидесятилетие», поскольку и для них это остается жизненной и интеллектуальной повседневностью.